

Воспоминания

траектория
судьбы

Коллеони и Конституция

Я пришла в Пушкинский 10 апреля 1945 года. Музей был в ужасном состоянии. Мы дежурили по ночам, чтобы в случае чего успеть спасти экспонаты от очередной протечка. Обходили три раза за ночь — целой комиссией.

И однажды, в первые дни после того, как я была назначена хранителем (а случилось это не сразу, где-то через полгода, потому что все-таки ко мне присматривались), мне снится, что я, как всегда, обхожу музей. Но в одиночестве. Иду по Итальянскому дворику и вижу, как Коллеони, тот самый, которого изваял Верроккьо, осторожно — очень хорошо помню — спускается с коня и направляется к выходу. Я еще подумала во сне: «Как он элегантен!» Но тут осознаю, что происходит, и меня охватывает ужас. Я же за него отвечаю, а он куда-то уходит! Я ему кричу: «Нельзя!» А он не слушает. Идет себе дальше. Я за ним. Даже не иду, бегу. Он шагает медлен-

но, а я бегу быстро, но он все равно оказывается впереди меня. Понимаю, что его не догнать, но сама себя успокаиваю: «Ничего, он все равно не пройдет в дверь, она же низкая, а он выше. Не получится тебе, Коллеони, от меня уйти!» Потом смотрю: проем двери расширяется, и Коллеони выходит. И самое поразительное, что прямо в небо. Я вижу его силуэт и голову на фоне чистого неба. Такая картина может открыться только с определенной точки — у пьедестала, на котором стоит оригинальная скульптура в Венеции.

Когда спустя годы я в первый раз приехала в Венецию и на площади Санти Джованни э Паоло увидела этот памятник на фоне неба, то сразу вспомнила свой сон. Возникло ощущение дежавю. Я очень удивилась этому своему впечатлению. Коллеони наяву как продолжение Коллеони из моего сна.

А когда я задумываюсь о своей жизни и память возвращает в прошлое, перед глазами сразу возникает другой памятник — на Тверской площади. Я очень хорошо его помню. Он был для нас местом встречи, местом притяжения, местом наших детских игр. Когда родители отпускали нас гулять, мы сразу устремлялись к этому монументу, а потом бегали вокруг и играли. У меня даже сохранился снимок: кто-то из взрослых везет на санках меня и мою подружку Амалию прямо к этому памятнику, а мы сидим, подняв вверх лица, и внимательно на него смотрим...

А теперь неожиданное. Нет, это был не памятник известному художнику — чего можно было от меня ожидать, — и его созерцание отнюдь не определило мою судьбу.

Мы жили в самом центре Москвы, на Тверской площади, недалеко от того места, где сегодня располагается мэрия. Которая, правда, существовала уже и тогда, только называлась иначе. А вот площадь в ту пору именовалась Советской, и на Советской площади стоял памятник с соответствующим названием «Монумент советской конституции», который венчала статуя Свободы, отлитая по эскизам Николая Андреева. Именно этот обелиск почему-то и стал для меня символом того времени.

Наша семья жила на втором этаже дома, в котором сейчас находится ресторан «Арагви». Дом в ту пору был гостиницей с просторными номерами и высоченными потолками. В этих номерах жили люди, и один такой, в котором выделили часть под кухню, принадлежал нам. Наши окна выходили прямо на памятник. Может быть, поэтому в моем детском мире он занимал такое большое место. Да и въяве это был внушительных размеров обелиск, в арки которого были вмонтированы бронзовые щиты с текстами статей первой советской конституции. А потом памятника не стало. Почему он был взорван — мне до сих пор непонятно. Думаю, что это еще одно свидетельство безответственного и без-

думного обращения с историческим прошлым. Кому помешал памятник историческому документу, зафиксировавшему переход от одной формации существования страны к другой? Это же совершенно знаковое событие, и не было ничего дурного в том, что его таким образом увековечили. Но что теперь об этом жалеть... От монумента не осталось и следа. А память моя хранит ту картину советского времени.

И если скользнуть мысленным взором по памятнику, по двору, обвести взором нашу комнату, то в ней обязательно проявятся дорогие для меня тени — мои мать и отец.

Моя семья

Когда меня просят рассказать о родителях и других близких мне людях, я всегда испытываю сожаление — могла о многом у них спросить, но почему-то не сделала этого. С годами я поняла, что мало знаю о родителях того, что мне хотелось бы знать. И это не отсутствие интереса к ним, к их жизни, а просто свойство, присущее юности. Все мы в юные годы не задумываемся о том, что, когда станем старше, проживем жизнь, нам захочется больше знать о своих родственниках, их жизни, которая была до нашего рождения, о том времени, в которое потом родились мы, росли и выросли. Мы не задумываемся о том, что однажды спросить станет некого.

Маминого отца, моего деда, я почти не помню. Знаю по сохранившейся у меня фотографии. С нее на меня смотрит колоритный бородатый мужчина, типичный представитель фундаментальной еврейской

семьи. Он всего несколько раз приезжал к нам, когда мы жили на Советской площади. Я запомнила, как он со мной разговаривал. Даже не сам разговор, а интонации его голоса. Бабушку я вообще никогда не видела, но мама говорила, что у нее был весьма твердый и даже жесткий характер, совсем не такой, как у деда. Это была волевая женщина, которая исповедовала строгие семейные устои.

Мой другой дед, папин отец, и его сестры работали на крупной питерской ткацкой фабрике. Он тоже приезжал к нам в Москву. У меня сохранилась и его фотография. Если положить рядом фотографии двух моих дедушек, заметен забавный контраст: с одной стороны — бородатый, корпулентный, очень величественный еврей, с другой — тоже бородатый, но с чисто русской внешностью человек с пронзительным взглядом. Разница между ними столь разительна, что невольно вызывает улыбку у людей, которые смотрят на два эти портрета.

А я, глядя на фото дедушек, сожалею, что обеих своих бабушек не помню. Они никогда к нам не приезжали. Мамину маму я вообще не видела, а фотография бабушки со стороны отца у меня сохранилась.

Две мои кузины — дочери тети Мины — до сих пор живут под Екатеринбургом. Я у них бывала и часто общаюсь с ними по телефону. Но тоже ведь ни о чем толком их не расспросила. Может быть, они были умнее

и что-то узнали у своей мамы? Может, они знают, как тетя Мина попала во время эвакуации на Урал? Может, могут сказать, почему они так там и остались?..

Мама родилась в Литве, но позже с родителями переехала на Украину, в Харьков. Семья по тем временам была не слишком большой: моя мама, ее отец и мать, братья и сестра Мина. Кстати, ее я почему-то запомнила очень хорошо — славная, милая, с прекрасным характером женщина, которая работала детским врачом.

Мама училась в гимназии. Потом, так как была очень музыкальна, поступила в Харьковскую консерваторию. Это случилось уже в годы Гражданской войны, поэтому мама не завершила обучение и не получила никакого документа, подтверждающего музыкальное образование. Главное, что она всю жизнь любила и прекрасно исполняла классику — Бетховена, Шопена, Шуберта. В квартире на Советской площади у нас не было своего инструмента, но в гостинице пианино было. И, поскольку мама умела играть, его просто поставили в нашу комнату. Под мамину игру, под звуки мазурок и вальсов прошло все мое детство. Музыка заполняла все пространство нашей комнаты, все время звучала в нашем доме. И продолжает звучать в моей памяти.

Мой отец — уроженец Смоленской области. Ко времени знакомства с мамой он уже довольно долго жил вместе с отцом в Петербурге.

Во время Гражданской войны отец служил в Красной армии. Вместе с ней он оказался на Украине. И однажды в Харькове познакомился с моей мамой, которая работала секретаршей в одном из многочисленных совучреждений, название которого в моей памяти не сохранилось. Особых подробностей про то, как развивалось их знакомство, мама мне не сообщила, но закончилось оно тем, что в какой-то момент они вместе переехали в Москву. Отца перевели работать в столицу. И им дали ту самую комнату в роскошном здании в центре города с окнами, глядящими на памятник, с которого я и начала свой рассказ.

Поначалу он был простым электриком. Позже, уже в Москве, закончил инженерные курсы, а в дальнейшем занялся стеклом. В памяти сохранилась фраза: «Папа поехал на Гусь». Это означало, что он уехал в Гусь-Хрустальный на завод с инспекцией. А потом, несколько позже, стал директором экспериментального Института стекла. Его карьера резко пошла вверх.

К любой работе папа относился очень серьезно. Помню, что как-то раз он пришел домой, а у нас только что переставили розетку. Отец посмотрел и говорит: «Как они ее поставили? Ведь криво же!» — и тут же ее снял, разобрал и поставил ровно. К тому времени он уже давно занимал серьезную должность

и не работал электриком, но к таким вещам относился внимательно: все должно было быть сделано правильно и аккуратно, так, чтобы не к чему придраться.

Отец был убежденным партийцем. Он рано вступил в партию — в 1906 году. Это не принесло ему каких-то высоких должностей, денег, карьерных успехов или славы. Но он до последнего гордился тем, что принадлежит к числу старых большевиков. И уже будучи совсем пожилым человеком, любил встречаться с детьми, со школьниками, рассказывать о прошлом, которое, как в зеркале, отражало эпоху.

При советской власти отец добился больших успехов в карьере. Он стал первым советским директором знаменитого питерского экспериментального Института стекла, чем страшно гордился, и говорил, что такую возможность подарила ему революция. Так что не все так однозначно и прямолинейно, как мы пытаемся представить. Отец оказался матросом революции, который смог стать капитаном.

Понимаю, что у читателя обязательно возникнет этот вопрос о Сталине. О нем папа в беседах со мной, да и с другими (естественно, я могу сказать только о том, что могла слышать и наблюдать), никогда ничего не говорил. Я не слышала от него ни одного упоминания имени Сталина. А вот о Ленине папа рассказывал — побывал на нескольких его выступлениях, но лично они не были знакомы.